**Дворянское общество в романе «Война и мир»**

**Исторический контекст в художественном образе**

Е. Цимбаева

Исторический анализ обычно бесполезно применять к произведению, автор которого описывает мир, отделенный от него временем или пространством. Ясно, что по незнанию, заблуждению или небрежности писатель может наделать ошибок. Указать на них нетрудно, но что докажет этим историк, кроме собственной эрудиции? Художник не ученый, художественная правда неравнозначна правде исторической. Вольности обращения с исторической истиной представляются в литературном произведении вполне правомерными, ибо автор описывает не столько то, что было, сколько то, что могло быть — или даже, как ему кажется, могло бы быть.

Однако бывает, что писатель намеренно искажает прекрасно известные ему исторические факты, сознательно, целенаправленно видоизменяет, переворачивает их во имя собственного замысла. Думается, в этом случае восстановление истины совершенно необходимо. Разумеется, не для того, чтобы уличить в обмане или раскритиковать литератора, изобразившего то, чего — как он точно знает — заведомо быть не могло, но при этом заставившего читателей поверить в правдивость выдуманного мира. Указание на расхождение между исторической и художественной правдой важно тем, что позволяет проникнуть в мастерскую писателя, уяснить его художественную и идейную концепцию. Как и творчество автора, пишущего на современный ему сюжет, творчество исторического романиста может стать вполне понятным только при выявлении разницы между реальностью эпохи и ее отражением в литературном тексте.

Не знаю, насколько обоснованным покажется это утверждение, но мне хотелось бы проиллюстрировать его на примере изображения дворянского общества в эпопее «Война и мир». Л. Н. Толстой избрал для романа эпоху, которая в его время не только была памятна старикам, но многие явления которой сохранялись практически неизменными, то есть были частью современной жизни и в 1805, и в 1865 годах. Кроме того, он отдал много сил изучению мемуаров и исторических сочинений о периоде наполеоновских войн. Наконец, он создал свое произведение в какой-то степени с полемическими целями, желая показать историкам, как следует подходить к изучению прошлого. Свои историко-теоретические взгляды он изложил в целом разделе «Эпилога», не удовлетворясь их воплощением в сюжете, образах и философских раздумьях героев. Тем интереснее «Война и мир» историку. Перед нами не просто источник, отражающий взгляды эпохи 1860-х годов на события Отечественной войны 1812 года; перед нами — гигантский труд, поставивший целью передать характер времени, характер русского народа, опираясь на исторические материалы и на четко сформулированную историческую теорию. Назвать ли «Войну и мир» историческим сочинением в художественной форме или художественным произведением с историософским подтекстом, — в любом случае оно заслуживает самого пристального внимания как явление по-своему уникальное.

Поскольку к дворянскому обществу принадлежат главные герои «Войны и мира», через их биографии всего удобнее рассматривать творческий метод писателя. Анализ же выведенных в романе исторических лиц представляется с этой точки зрения наименее существенным. Тема эта благодатна для критики, но для выявления писательского замысла она, по моему убеждению, вторична. Реально жившие люди, входя в художественное пространство, изменяются под воздействием художественной концепции автора, подчиняются ей, а не подчиняют ее себе. Идейная составляющая романа выражается в первую очередь через образы вымышленных героев, через сюжетные ходы, через историко-бытовой фон, нарисованный писателем. Именно эти стороны эпопеи прежде всего привлекают читателей, определяют ее всемирную славу, и в то же время они ярче всего демонстрируют подход Толстого к историческим источникам, его работу с фактами, способы, какими он подчиняет реальность начала XIX века интересам своего романа.

Наконец, всего важнее понять, какими причинами руководствовался писатель, подвергая художественному переосмыслению историческую истину. Произвольно ли он пересоздавал известные явления, покоряясь полетам своей фантазии, или следовал определенной системе, имевшей для него идейный смысл? Разумеется, в последнем случае уяснение этой системы стало бы не просто важно, а совершенно необходимо для оценки творческой и исторической концепции Толстого.

Думается, что нижеизложенные факты позволят прийти к выводу, что нередко отмечаемый в литературе неисторизм — и даже антиисторизм — Толстого был составной частью обширного, но по сути простого и ясного комплекса идей, пронизывающих роман от первых до последних слов.

Действие «Войны и мира» начинается в июле 1805 года в салоне фрейлины вдовствующей императрицы Марии Федоровны — Анны Павловны Шерер. Как известно, Толстой долго выбирал место зачина романа, не раз его менял. И после многих колебаний он остановился на варианте, которого… заведомо не могло быть! Фрейлины по определению не могли иметь салон и принимать у себя светских посетителей. Фрейлины состояли при императрицах и цесаревнах; обыкновенно раз в неделю одна из них назначалась дежурной и неотлучно находилась при своей повелительнице, но и свободные от дежурства могли потребоваться в любой момент, обязаны были являться с утренними приветствиями, присутствовать на торжественных приемах, аудиенциях и т.д. Поэтому фрейлины постоянно жили в Зимнем дворце, в так называемом «фрейлинском коридоре», при разъездах царской семьи сопровождали ее — словом, полностью лишались независимости и возможности завести собственный дом. Такое положение не изменялось вплоть до революции. В виде какого-то совершенного исключения правило могло быть нарушено, но устраивать светские вечера фрейлина все равно не могла.

Фрейлина — это всегда незамужняя особа; а в дворянском общежитии всякой добропорядочной девице, как бы стара она ни была, не полагалось приглашать к себе никого, кроме родственников и близких друзей, да и то днем. На балах, раутах и jour fixe’ах (то есть приемах любых посетителей в установленные дни, что и составляло понятие «салон») непременно должны были быть хозяин и хозяйка, хотя бы номинально. Даже вдовы без взрослых сыновей принимали только в дневные часы, до начала бального времени. То обстоятельство, что при Шерер находилась ее престарелая тетушка, принципиально ничего не меняло: в доме без мужчины нельзя было собирать холостяков и девиц для непринужденного общения. Это было бы вопиющим нарушением светских норм, которое бросило бы тень не только на хозяйку и ее гостей, но и на императрицу, чьей приближенной являлась Шерер.

Словом, салон фрейлины, салон незамужней дамы — место, в действительности не существовавшее, и автор это прекрасно сознавал. Можно допустить, что Толстой был неосведомлен об обычаях придворной среды, но нормы существования его собственного круга были ему известны с младенчества. Интересно, что фрейлины 1860-х годов с одобрением приняли роман: вероятно, в их глазах образ Анны Шерер был поэтическим преувеличением их роли при дворе и в свете1 .

Время начала действия также нереально. В июле любого года XVIII—XIX веков не могло быть великосветского праздника, на который удаляется часть гостей Шерер. Сезон в Петербурге завершался в июне, двор переезжал в Царское Село или другую загородную резиденцию, придворные отправлялись вслед за двором, общество разъезжалось по дачам или имениям. В честь исключительного события — важной победы, коронации и тому подобного — английский посланник мог дать свой праздник, однако он не нашел бы «высшую знать» в опустевшей столице. Не могло быть и офицерской пирушки у Курагина, куда отправился Пьер Безухов, поскольку войска переводились в летние лагеря. Не нашел бы Пьер и «женщин», привлекавших его в круг Анатоля, — молодые люди развлекались в те времена в обществе актрис и фигуранток, а труппы с закрытием театрального сезона отправлялись на ярмарки или в имения аристократов. Толстой достаточно долго жил в Петербурге и не мог не замечать особого характера столицы, существование которой зависело от приездов — отъездов двора, отражавшихся на всех сферах, вплоть до закрытых учебных заведений.

Наконец, еще один факт, понятный любому читателю: грипп, которым якобы больна Анна Шерер, можно подхватить, разумеется, в любое время, но июль для этого наименее вероятен.

По отдельности данные обстоятельства не кажутся важными, могут объясняться равнодушием автора к правдоподобию, но вместе они создают впечатление, что Толстой сознательно изобразил ситуацию, словно бы воплощавшую в исторических терминах сказочную формулу «в некотором царстве, в некотором государстве». Такой прием вполне оправдан: в самом деле, удобно помещать вымышленных героев в вымышленный мир! Фантастичность зачина должна была броситься в глаза внимательному читателю и подготовить к восприятию всего романа.

В этом небывалом салоне, в самое неподходящее время года автор представляет нам многих из основных персонажей романа.

Семейство Курагиных не пользуется любовью Толстого, и, стремясь унизить его членов, он применяет все средства, в том числе не только художественные. К самому князю Василию это не относится, а вот образы его троих детей вызывают удивление — и прежде всего их имена.

Князь Ипполит носит вопиюще не княжеское имя. Сплошной просмотр родословных русских княжеских родов показывает, что их отпрыски, родившиеся между началом XVIII и концом XIX века, такого имени не получали2 . Это не только не княжеское, но вообще не дворянское имя. Оно стоит в том ряду, о котором Пушкин писал: «Сладкозвучнейшие греческие имена… употребляются у нас только между простолюдинами». В 1805 году, как и во времена Толстого, имена людей имели отчетливый сословный характер, выраженный настолько, что простое представление человека полным именем ясно показывало его происхождение, происхождение его отца и деда. Так, можно вспомнить возражение Е. Новосильцевой против женитьбы сына, потомка екатерининских Орловых, на дочери генерала Чернова: «Не хочу иметь невесткой Чернову Пахомовну, — экой срам!»3 Суть возражения в том, что дед или бабка невесты явно происходили из крестьян или однодворцев, раз назвали сына Пахомом. Он и дослужился до генерал-аудитора (эту псевдоармейскую должность не желали занимать даже сироты-кантонисты), — каким родством свяжет Чернова аристократическое семейство! Как известно, забота о фамильной чести привела к смертельной дуэли между В. Новосильцевым и К. Черновым; погиб последний продолжатель рода Орловых; его мать всю жизнь каялась и считала себя убийцей сына; титул перешел к Давыдовым, — но кровь Орловых с крестьянской не смешалась!

Ипполит — имя не крестьянское, а либо польское, малороссийское, либо разночинское. Его могли носить мелкие чиновники, которым выше 10 класса было не подняться из-за безродности и плохого образования. Когда у Грибоедова в гении репетиловского кружка возводится «Удушьев Ипполит Маркелыч», насмешка автора выражается не столько в фамилии, сколько в имени-отчестве персонажа. Даже герой «Двенадцати стульев» Ипполит Матвеевич Воробьянинов, хотя родился во второй половине XIX века в захолустном городке, где и когда сословные различения проявлялись менее резко, чем в столицах, все же своим именем несколько унижается. Что уж говорить о «князе Ипполите Курагине» — сочетании немыслимом, шокирующем читателей толстовской поры, но незаметном в наше время.

Имя Элен — Елена — имеет другие особенности. В начале XIX века оно отсутствовало в русском обиходе (кроме простонародного варианта Алёна), являлось принадлежностью обрусевших немок. Им окрестили, например, великую княгиню Елену Павловну; его носила немецкая жена Ф. Булгарина, которую все русские литераторы первой трети XIX века называли Леночкой или Lдnchen. Немецкое звучание имени Елена стерлось ко второй половине XIX века, поэтому Элен — имя, с одной стороны, невероятное для русской княжны начала века, с другой стороны, это обстоятельство уже не бросалось в глаза первым читателям романа. Несмотря на французскую форму, это имя не было принято в дворянской среде Франции, казалось и там чужеродным, англо-германским.

Что касается имени Анатоль, оно звучало совершенно нейтрально и было абсолютно редко во всех слоях русского общества, изредка встречалось во Франции и полностью отсутствовало в других европейских странах.

Толстой прекрасно сознавал значение имен, в «Воскресении» он особое внимание уделил форме имени Катюши Масловой, наиболее ясно выражавшей ее происхождение и положение в доме. Имена детей Курагиных он тщательно подбирал, а не давал наобум — зачем? Их невозможно привести к общему знаменателю. Например, Ипполит и Елена — имена героев античной мифологии, но Анатолий в эту категорию не попадает. Они не могли бытовать в одной стране, в одном языке, в одном сословии. Все три имени выделяли детей Курагиных из светской толпы, но все тянули как-то очень уж в разные стороны и были невероятны в описываемом кругу общества. Может быть, писатель хотел таким способом намекнуть на раздор в семье Курагиных («все смешалось в доме…»)? Трудно предложить подходящее объяснение — но должно же оно быть?

Кроме имени, уничижительным штришком к образу Ипполита становятся его запоминающиеся панталоны цвета «бедра испуганной нимфы». В их названии слышится что-то фатоватое и женоподобное, а между тем это обычное в XVIII — начале XIX века обозначение оттенка, который теперь мы называем «телесным»4 . Он был общепринят для мужских панталон в 1800–1810-е годы, и «светлые по тогдашней моде» панталоны Пьера были, всего вероятнее, того же цвета — но тут Толстой не упомянул французский термин!

Третьим способом унизить Ипполита становится его картавая и ломаная русская речь, когда он по причинам, непонятным гостям и не объясненным автором, рассказывает анекдот по-русски, «с таким выговором, с каким говорят французы, пробывшие с год в России». Вопрос о французском языке в русском романе волновал и Толстого, и его первых читателей, и издателей. Сам автор объяснял обилие французских фраз тем, что в описываемую эпоху такова была «форма выражения французского склада мысли», что на французском языке «не только говорили, но и думали» люди начала XIX века. Трудно судить, было ли это искреннее заблуждение писателя или намеренное введение в заблуждение читателей.

Русские дворяне не рождались со знанием французского языка, им приходилось его учить. Каким образом? Во-первых, дома с французом-гувернером или даже без него, если в семье был принят французский; во-вторых, в высококлассных учебных заведениях; наконец, за границей. Живя в России, дети постоянно общались со своими дядьками, нянюшками, мамушками, кучерами и проч., поэтому, в совершенстве владея французским, они равно владели и русским, хотя порой их речь была неправильна или излишне простонародна. При заграничном воспитании русские дети действительно не знали родного языка и всю последующую жизнь говорили на нем с акцентом.

Ипполит и Анатоль воспитывались за границей, но это понятие в описываемую эпоху крайне сузилось. Ипполит не мог воспитываться во Франции. В 1805 году ему было не более двадцати пяти лет, то есть родился он около 1780 года или позднее. Его отрочество и юность пришлись на годы Великой французской революции, когда обучение во Франции стало абсолютно невозможно. Во всей Европе до 1805 года не затронутой революционными и наполеоновскими войнами оставалась одна Германия (не считая Австрии, которая не привлекала русских дворян, даже в Вену тогда ездили только по долгу службы). Ипполит мог воспитываться в Германии, — но тогда его разговорным языком должен был быть немецкий! Так случилось, например, с братьями Тургеневыми, слывшими прирожденными немцами, хотя, разумеется, и французским они владели безупречно. Иными словами, французский язык Ипполита никак не мог быть выражением «французского склада мысли», который не приобрести в немецких землях.

«Французский склад мысли» дети могли почерпнуть у гувернеров или учителей высокого происхождения и образованности, хлынувших в Россию с волной аристократической эмиграции после 1791—1792 годов. С этого времени французское воспитание в России стало широко распространенным, возникли французские пансионы, появились замечательные педагоги. Но их воспитанники в 1805 году еще пребывали в классных комнатах. Парадоксально, но французский язык вошел в общедворянский обиход именно после Отечественной войны, когда подросло поколение, рожденное в 1790-е годы. В старших же поколениях французским владели по-настоящему только те, кто успел получить образование во Франции до революции, либо те, кому посчастливилось заполучить хорошего учителя в доэмигрантские времена. В этих поколениях нередки были случаи плохого знания французского даже просвещенными лицами (так, И. Дмитриев понимал французский, но не говорил на нем; М. Загоскин, выросший в провинции, французский выучил по словарю и не имел представления о грамматике и произношении). Таким образом, 1805 год приходится на период, когда в русском свете было наименьшее число знатоков французского и наименьшее число лиц, воспитанных за границей. Разумеется, французский язык в салоне Шерер вполне уместен, поскольку сама хозяйка и половина ее гостей — иностранного происхождения. Но их «иностранный склад мысли» не следует прямолинейно переносить на склад мысли русской «высшей знати».

Последний момент, связанный с Ипполитом: в укор ему автором ставится и ухаживание за княгиней Лизой Болконской. В этом он совершенно безгрешен. Волочиться за хорошенькими (и не очень) замужними дамами было, можно сказать, светской обязанностью молодых людей. Своим вниманием они хотя бы отчасти компенсировали женщинам равнодушие их мужей. Выбор Ипполита, павший на беременную женщину, явно свидетельствует о его платонических намерениях. Он словно бы выполняет свой долг, стараясь не причинить никому неприятностей.

В начале XIX века Ипполит (которого, конечно, звали бы иначе), оставаясь глуповатым и никчемным фатом, не казался бы отрицательным персонажем.

Беспутный брат Ипполита Анатоль многим представлялся главным отрицательным героем романа, однако его пороки не столь велики, как кажутся. Его многолетняя разгульная жизнь не являла собой ничего исключительного в кругу светской молодежи первой трети XIX века (так вели себя и Пушкин, и Грибоедов, и многие другие). Напротив, скорее скромный образ жизни был бы сочтен тогда недостатком, проявлением ханжества или лицемерия (вспомним насмешки Чацкого над Молчалиным: «Я езжу к женщинам, да только не за этим»). Во всем прочем безумства Анатоля — продолжение начатой в салоне Шерер сказки; они откровенно гротескны.

Он кутит — и стоит своему отцу сорок тысяч в год, что является явным преувеличением. Проиграть в карты можно любую сумму, и долги чести надо платить, но помимо них Анатоль должает до тридцати тысяч в год кредиторам, то есть поставщикам и ростовщикам, — такие деньги по тогдашним ценам невозможно было растратить за год ни на какие прихоти и излишества. Если долги сына обременяли князя Василия, он мог воспользоваться испытанным и действенным средст-вом — объявить об отказе содержать Анатоля, после чего никто бы не дал тому в долг ни копейки, никто бы не сел с ним играть и даже любовницы его бы оставили.

Сватовства Анатоля к богатой наследнице княжне Марье в его двадцать с небольшим лет также быть не могло. В такие годы в начале XIX века светскому человеку еще не полагалось помышлять о женитьбе, и было заведомо ясно, что старый князь Болконский своего согласия не даст под любым предлогом. Если Курагиным требовалось поправить свои дела, свататься следовало бы Ипполиту, все-таки старшему из братьев.

Временами Толстой словно бы забывает о том, что Анатоль приходится Элен родным братом, и заставляет Пьера воображать их близость. Такие отношения в начале XIX века не зафиксированы, и в любом случае Курагины самые неподходящие кандидаты на эту роль.

Важнейшим эпизодом, связанным с Анатолем, является попытка его бегства с Наташей без видов на женитьбу. Она характеризует его очень скверно, но мог ли подобный случай произойти в реальности? Беглые браки заключались постоянно (вспомним «Метель», можно привести и десятки реальных случаев), внебрачные связи девиц в родительском доме также могли быть (из литературных примеров — «Горе от ума»), но побег без венчания был бы чудовищной глупостью. Бесцельное бегство Анатоль мог устроить, будь он безмозглым семнадцатилетним юнцом, но за шесть-семь лет беспутств он должен был немного образумиться и просто устать (как со знанием дела писал Пушкин: «Отступник бурных наслаждений, / Онегин дома заперся…»). Дворянская девушка отнюдь не была беззащитной. Перспектива быть вызванным на дуэль с четырех шагов братьями Наташи не испугала бы Анатоля, но над ним имелась и высшая власть — император. Семейство Ростовых располагало достаточными связями, чтобы подать жалобу лично царю, и расплата похитителю последовала бы незамедлительно: Сибирь или солдатчина. (Николай I лишил княжеского титула, дворянства и отдал в солдаты князя С. В. Трубецкого даже за бегство с замужней женщиной, — излишняя тяжесть кары объяснялась собственными видами императора5.)

Анатоль якобы хотел устроить мнимое венчание при участии попа-расстриги и двух приятелей-свидетелей. Их могли и не посвятить в тайну обмана, но сами Анатоль и Долохов, начавшие кутить не позднее 1805 года, должны были слышать о шумном деле, случившемся несколькими годами раньше, в предыдущее царствование. Один повеса, уже женатый, увез девицу и мнимо обвенчался с нею; она родила ребенка. когда обман раскрылся, женщина обратилась к императору, и Павел принял истинно павловское решение: обманутую женщину объявил имеющей право на фамилию похитителя, их дочь — рожденной в законном браке, повесу разжаловал и сослал, а его приятеля, изображавшего священника, постриг в монахи, «так как он имеет склонность к духовной жизни»6 . Последнее наказание было страшнее всего: можно вернуться из Сибири, можно храбростью добыть себе офицерский чин, но из монастыря пути назад нет. Тут даже бесшабашный Долохов призадумался бы, стоит ли помогать Анатолю (тем более что Курагин имел шанс успеть убежать за границу и застрять там до следующего царствования, а Долохов оставался в России отвечать за последствия).

Толстой попытался придать затее правдоподобие, неожиданно введя польскую жену Анатоля, о которой прежде не было речи. Но на нее не стоило обращать внимания: пожелай Курагин, он давно мог бы с ней развестись на законном основании долгой раздельной жизни, то есть фактического прекращения брака.

В истории Наташиного побега Толстой соединил реальные беглые браки, реальные бегства с замужними женщинами, реальные истории фальшивых венчаний — и создал ситуацию, не имевшую места и невозможную в описываемый период. Более того, если бы бегство и удалось, в глазах современников репутация Анатоля не пострадала бы, какое бы наказание ни понес он от императора. Так, полковник Бурмин из «Метели» тою же зимой 1811–1812 годов мимоездом женился на девице (убежавшей даже не с ним), не потеряв ни собственного уважения, ни уважения автора. Правда, после войны полковник раскаялся в своем проступке, но и у Анатоля все было впереди.

Последний раз, после перерыва на целый том, он появляется перед читателем в госпитале, где ему ампутируют ногу, после чего исчезает со страниц романа. Тут художественное и историческое чутье не изменило Толстому; он не мог показать Курагина после Бородина, не перевернув полностью отношение к нему. Потеря ноги — наименее страшное из тогдашних ранений; ногу отрезали, чтобы предупредить заражение крови, и в большинстве случаев раненый выживал. И вот перед нами князь Анатоль после 1812 года: герой, потерявший ногу на Бородинском поле, за одно это заслуживший Георгиевский крест, окруженный на всю жизнь всеобщим уважением, кумир барышень, несмотря на увечье и даже благодаря ему (вспомним полковника Бурмина с его перевязанной рукой, Георгием и интересной бледностью). Анатоль поневоле отказался бы от кутежей, уехал бы в деревню, где с легкостью нашел бы жену и прожил бы свой век в почете и заслуженной праздности. Толстой лично видел многих героев Отечественной войны, вызывавших в 1860-е годы искреннее преклонение новых поколений.

Впрочем, Курагин мог и сделать карьеру, подобно, например, А. Норову. Тот — представитель старинного рода, гвардеец — потерял ногу при Бородине, пожил в имениях, потом вступил в гражданскую службу и, отдавшись бездумно ее течению, стал министром народного просвещения в 1854–1858 годах. На этом посту проявил себя как человек добрый, либеральных взглядов, но легкомысленный и небрежный в делах. Правда, Норов принадлежал к поколению Грибоедова, более образованному, чем сверстники Курагина, имел склонность к литературе и языкам (и в 1868 году написал разбор «Войны и мира», критикуя изображение событий 1805—1812 годов «с исторической точки зрения и по воспоминаниям современника»).

Анатоль к духовным удовольствиям не был привычен, но даже если бы он не бросил картежную игру и продолжал проигрывать имения и приданое жены, это не поколебало бы его великого значения героя-инвалида Бородинской битвы. Людям пушкинской поры Анатоль Курагин представлялся бы — при всех своих пороках — главным положительным героем романа.

Едва ли кому-нибудь симпатична Элен, но и она изображена подобно братьям: она дурна, но она не совершает дурных поступков, хотя автор старается уверить в обратном. Первый раз она появляется в романе в бальном платье с шифром. Зачем понадобилась эта деталь Толстому? Шифр носили фрейлины как знак отличия, но Элен — не фрейлина: она едет на праздник с отцом, живет в родном доме, ее служба во дворце не упоминается. Богатая петербургская княжна обычно не назначалась фрейлиной; эту придворную должность охотнее давали бедным провинциалкам хороших родов, для которых близость ко двору становилась головокружительным взлетом и чья служба была усерднее, поскольку рассчитывать на большее они не могли. Шифр получали и лучшие выпускницы Смольного и других институтов благородных девиц, находившиеся под высочайшим покровительством.

Институтки — вопрос, никогда не волновавший русское общество сильнее, чем именно в 1860-е годы. Девочки, воспитывавшиеся в полной изоляции от мира, выходили из институтов совершенными дикарками, не имевшими ни малейших представлений о реальной жизни и всего боявшимися: для них не только корова, но лошадь и даже собака были экзотическим и страшным зверем. Самыми загадочными и волнующими существами для них были мужчины, перед которыми они трепетали. Они поминутно вскрикивали «Ай!» и падали в обморок по любому поводу (обморокам их специально обучали)7 . Недостатки институтского воспитания пытался в конце 1850-х годов исправить великий педагог К. Ушинский, но его реформы провалились. У институток были и достоинства, но речь сейчас не о них. Ясно, что сознающая собственное совершенство, полная самообладания, безупречная, хладнокровная Элен не имеет с институтками ничего общего. Но зачем-то Толстой наградил ее шифром?!

Выйдя замуж, Элен ведет образ жизни, достаточно обычный в ее кругу и в какой-то момент желает развестись с супругом. Это ее желание будоражит высший свет, новое замужество при живом муже многим кажется невероятным, только Марья Дмитриевна Ахросимова утверждает, что так издавна поступают в местах, чье название пропущено в печатном тексте. Мать Элен выражает сожаление, что в ее невозвратную молодость не знали, насколько просто развестись и вступить в новый брак.

На самом деле именно в ее молодости, во второй половине XVIII века, в вельможном кругу обычны были самые фантастические надругательства над таинством брака. Г. Орлов женился на двоюродной сестре, чего церковь не дозволяла; жена князя А. Голицына с согласия мужа вышла замуж за графа Л. Разумовского, а сколько замужних женщин без всякого развода открыто жили с другими мужчинами в гражданском браке и рожали им детей, признававшихся законными! В отличие от них Элен согласно синодальным установлениям имела право на развод с Пьером, учитывая их долгое раздельное проживание. Какая-то особенная помощь, помимо светских связей, не требовалась ей для осуществления своей цели. Тем не менее Толстой заставляет ее воспользоваться поддержкой иезуитов. В середине 1812 года Элен переходит в католицизм.

Мне приходилось специально заниматься проблемами русского католицизма и могу с уверенностью заявить, что ни одно из многочисленных обращений начала XIX века не приходится на 1812 год8 . Переход православных русских в католицизм, даже если речь идет о светских дамах, всегда был необыкновенно сложным, ответственным и выстраданным выбором. Разрыв с отеческой религией не только не означал духовного разрыва с родиной, но всегда и неизбежно заставлял любить ее сильнее и осознаннее. Принятие католичества, какие бы причины его ни вызывали (а они были различны в разные периоды русской истории), ни в коей мере нельзя приравнивать к измене родине. Отсутствие переходов в 1812 году свидетельствует не о взлете патриотизма (еще раз подчеркну, что католицизм не мешал, а скорее заставлял любить Россию), а об осторожности католических проповедников, опасавшихся вызвать неудовольствие императора. Обращения возобновились уже в 1814–1815 годах.

Кто бы ни проводил само обращение, в петербургском свете наибольшее воздействие на умы оказывали иезуиты и их последователи, во главе со знаменитым графом Ж. де Местром. Однако, опираясь на них, Элен никак не могла рассчитывать, что «папа узнает о ней и пришлет ей какую-то бумагу».

Орден иезуитов был упразднен декретом папы Климента XIV от 21 июля 1773 года, остатки его нашли прибежище в России под покровительством Екатерины II. В царствование Павла I деятельность Ордена в одной только России была разрешена бреве папы Пия VII 7 марта 1801 года. И только 7 августа 1814 года Орден был восстановлен повсеместно. Таким образом, в 1812 году иезуиты не только не могли покровительствовать русской графине при папском престоле, но, напротив, целиком зависели от расположения российского императора и высших кругов, к которым принадлежала и графиня Безухова.

Неизвестно, насколько осведомлен был Толстой о деятельности иезуитов в России. Он имел возможность прочитать книгу своего дальнего родственника Д. Толстого «Об иезуитах Москвы и Петербурга», вышедшую в 1859 году; в годы создания «Войны и мира» вышли труды священника М. Морошкина «Иезуиты в России» и славянофила Ю. Самарина9 . Материал подавался в них тенденциозно, но факты были в целом достоверны. Толстой не стал им следовать, еще усилив тенденциозность указанием на изменнический характер салона Элен, выступавшего за Наполеона и мир с ним. В ее кружок автор ввел графа Н. Румянцева, основателя коллекции Румянцевского музея и Румянцевской библиотеки, а в ту пору — министра иностранных дел. По-своему понимая интересы России, Румянцев действительно был противником войны с Францией, однако не сторонником Наполеона как такового. Он не был и изменником: вступление Наполеона в Россию вызвало у него апоплексический удар, после чего он навсегда отошел от государственных дел, хотя оставался министром до 1814 года.

Толстой не перечислил посетителей кружка Элен, а позицию Румянцева, видимо, не понял, потому что, как явствует из «Эпилога» к роману, не смог осознать смысл борьбы России и Франции. Ему, кажется, осталось неизвестным, что у России и Франции не было точек противоречия, что все коалиционные войны конца XVIII — начала XIX века вызывались в конечном счете противостоянием Франции и Англии. В этих войнах России выпала жестокая роль главного действующего лица, таскавшего каштаны из огня для другого. Разумеется, это несколько упрощенная трактовка; Россия отказалась присоединиться к континентальной блокаде Англии (что и вызвало поход Наполеона на Москву), исходя из собственных экономических интересов, но их важность не следует преувеличивать.

Бонапартистский характер кружка Элен опровергается самим Толстым, когда он сообщает о ее желании выйти замуж за «одного молодого иностранного принца». Судя по тому, что старая княгиня Курагина глубоко приседает перед этим принцем, речь идет о представителе одной из владетельных германских династий, свергнутых Наполеоном и надеявшихся вернуть себе престол с помощью русского оружия. Брак с таким принцем решительно противоречит антивоенной идее салона; он может свидетельствовать, если угодно, о беспринципности Элен, но не о ее принципиальном отторжении всего русского.

Князь Андрей Болконский, в отличие от Курагиных, совершает поступки, всегда исторически обоснованные и убедительные; неправдоподобие этого персонажа Толстой выражает иными средствами. Князь Андрей женился на небогатой и незнатной немке Лизе Мейнен, увлекшись ее очарованием и кротостью, за что через полгода после свадьбы ненавидит себя, срывает зло на жене, а его отец открыто ее третирует. (Даже образу маленькой княгини Толстой постарался придать всю возможную нереальность. Черные усики Лизы, постоянно, настойчиво упоминаемые автором, никогда не были свойственны немкам. Кроме того, в июле 1805 года Лиза была заметно беременна и ходила переваливаясь, хотя ребенок родился только 19 марта. Разумеется, писатель мог просто забыть такие мелочи, но еще раз повторю — соединенные вместе, они складываются в цельную систему изменения даже общеизвестных истин.)

В дальнейшем князь Андрей поступал полностью логично. Опасаясь быть убитым на войне, он просил отца самого воспитывать внука, если Лиза родит мальчика, не отдавая матери и ее семье: это совершенно правильно, ибо немецкая родня не обеспечила бы ребенку того образования и положения в свете, на которые вправе был рассчитывать наследник князей Болконских. В 1805 году, состоя адъютантом главнокомандующего, князь Андрей мечтал о личном подвиге на поле боя и действительно его совершил, поведя за собой солдат и павши со знаменем в руках. За этот поступок, тем более произошедший на глазах Кутузова, он должен был бесспорно получить орден и продвижение в чинах, о чем автор предпочел умолчать. После кампании 1805 года Болконский с чистой совестью и репутацией героя вышел в отставку, хотя в 1806 году Толстой заставил его вступить нехотя в ополчение, «чтобы отделаться от действительной службы», ибо «началась война и все должны были служить». Тут очередная фантазия или гротеск: никто не мог вынудить русского дворянина служить, поскольку свобода от службы была дарована ему «Манифестом о вольности дворянства» 1762 года. Кроме того, в 1806 году нельзя было бы сказать, что «началась война». Шли одновременно три заграничные кампании (русско-персидская, русско-турецкая и 4-я антифранцузская коалиционная войны), но это отнюдь не означало всеобщую мобилизацию дворян — ее не было и в 1812 году. Впрочем, Толстой не настаивал на этой подробности, предоставив герою хозяйничать в имении.

Наскучившись уединением, князь Андрей возвратился в Петербург и втянулся в политические преобразования М. Сперанского, с головокружительной быстротой переходя от должности к должности. Разуверившись в полезности предполагаемых реформ (кстати, напрасно; можно было не верить в их осуществимость, но сам проект Сперанского по созданию в России конституционной монархии был революционен для своего времени), князь Андрей нашел новую жену, опять неудачно, ибо посватался к слишком юной девушке. Нынешнее представление о том, будто бы в начале XIX века замуж выходили в шестнадцать лет, а в двадцать считались старыми девами, ни на чем не основано. Бывало, что женщины вступали в брак и шестнадцатилетними, но средний брачный возраст в столицах соответствовал теперешнему, и даже в тридцать—тридцать пять лет девушка не теряла надежд (сестра Грибоедова Мария вышла замуж в тридцать четыре года, причем не за пятидесятилетнего вдовца, а за ровесника, — и это не единичный факт). Случались браки и сорокалетних женщин, вдовы же могли вступить в новое замужество хоть в шестьдесят. На сей раз послушавшись отца, князь Андрей уехал на год за границу, дабы рассеяться и одуматься.

Невеста изменила ему, и, весьма вероятно, он стал бы, как бы против воли, подыскивать новую, но тут началась война. Герой Аустерлица имел полное право оставаться в стороне — он уже доказал свою храбрость, и ничего большего общество не могло от него требовать. Но все же князь Андрей возвратился на службу, переведясь в армию с чином полковника — абсолютно нормальное, строго достоверное течение карьеры военного. В день Бородина он мечтал уже не о личном подвиге, а о том, как поведет свой полк в бой, решая исход сражения: тоже совершенно естественное изменение приоритетов, вызванное возросшими обязанностями и чувством ответственности.

Во всех отношениях князь Андрей мог бы считаться образцом высокородного дворянина и военного тех лет, если бы не его взгляды на жизнь, не его честолюбие! На двадцатилетнем промежутке между 1792 и 1812 годами в России уместилось три поколения, чьи жизненные установки были полностью противоположны. К первому из них принадлежали люди, воспитанные в идеалах Просвещения, верящие во всемогущество Разума и пережившие жестокий крах этой веры после начала якобинского террора во Франции. Второе поколение выросло в России в условиях почти полной изоляции от Европы, в унылые и душные годы конца екатерининского и во все павловское царствование. Третье поколение формировалось на полях наполеоновских битв народов, оно приняло на себя тяжесть Отечественной войны и победило в ней.

Князь Андрей, родившийся, как и Ипполит, около 1780 года или чуть позднее, принадлежал к среднему поколению. Для него Наполеон не мог быть героем и образцом для подражания, ибо первым консулом тот стал в конце 1799 года, а императором Франции в 1804 году, когда Болконскому было за двадцать — возраст перехода от юношеских идеалов к взрослой деятельности (по крайней мере так считалось в XIX веке). Наполеон являлся кумиром третьего поколения, вышедшего на Бородинское поле в семнадцать — девятнадцать лет, в то время как князю Андрею было за тридцать. Примерами юных поклонников Наполеона можно считать П. Пестеля, С. Муравьева-Апостола и многих будущих декабристов.

Современному читателю-неисторику десятилетняя разница между Пестелем и Андреем Болконским покажется несущественной: не все ли равно, если Толстой и приписал своему герою некоторые психологические качества более молодого поколения? Но этими качествами задается характер честолюбия героя. Поколение, разуверившееся в разумности мира, служило плохо и только по необходимости, бездумно, из его среды не выходили люди, стремившиеся перевернуть мир. Молодежь двенадцатого года, напротив, мечтала не о простом продвижении в чинах, а о великих свершениях на благо всего человечества, во имя вековой славы в потомках. Среднее поколение было средним во всем: служило, получало чины, готово было к личным подвигам, но вершителей судеб России и мира из него не вышло. А князь Андрей именно «глядит в Наполеоны»: в начале Шенграбенского сражения он надеется на «свой Тулон», вызывая в памяти поворотное событие в жизни Бонапарта. Тогда двадцатичетырехлетний артиллерийский капитан предложил свой план штурма безуспешно осаждаемого города, взял его, был произведен сразу в бригадные генералы — и с этого эпизода началось его стремительное восхождение на престол. Думая о «Тулоне», Андрей Болконский мечтает не о личном выдвижении (он богат, князь, аристократ, любимец Кутузова, российским императором ему никогда не стать, а его положение в обществе неколебимо), он мечтает о судьбе Наполеона — человека, изменившего лицо старой Европы.

На поле Аустерлица он почувствовал ничтожество своего героя, но почувствовал и собственное бессилие, ибо был ранен, а сражение проиграно. После краткого всплеска прежней надежды на великие преобразования, померещившиеся ему в деятельности Сперанского и собственной роли в них, он окончательно отказался от высокого честолюбия, что внешне выразилось в путешествии за границу (весьма характерный тогда способ прекращения борьбы). В Отечественную войну он действовал уже как обычный русский офицер и дворянин, как бы вернувшись в свое поколение.

Если и были в среднем поколении люди, подобные Андрею Болконскому, их порывы ни к чему не привели. А вот юноши, влюбленные в Наполеона, даже разочаровавшись в нем, взамен приобретали нечто большее — победоносную уверенность в себе! Они пережили боевое крещение не при Аустерлице, а при Бородине, Кульме, Лейпциге, и никакие раны и последующие беды и страдания не могли поколебать их веру в себя, добытую в восемнадцать лет в жесточайших военных испытаниях.

Тем-то и неубедителен образ князя Андрея, что, вырванный из контекста эпохи, анахронистический, он показывает конец, к которому русские поклонники Наполеона никогда не пришли, то есть оказывается нисколько не типичным. Сознавал ли это Толстой? Старики, которых он в молодости наблюдал лично, могли все казаться ему одинаковыми. Но ведь он читал и мемуары о наполеоновском времени и должен был почувствовать, что С. Жихарев, к чьим «Запискам современника» он обращался, и, допустим, декабрист И. Якушкин, записки которого он мог найти, имели совершенно разные жизненные установки при определенном сходстве характеров. Кроме того, первая треть XIX века не так уж далеко отстояла от эпохи Льва Толстого. И если в наше время мы понимаем со всей очевидностью, что, например, Антон Кандидов, герой недооцененного «Вратаря республики» Л. Кассиля, не мог быть даже задуман в 1912 году, как в 1932 году не мог бы приобрести популярность, скажем, Санин М. Арцыбашева, так и Л. Толстой не мог не понимать разницу между людьми, воспитанными в павловское время, и героями 1812 года со всей вытекающей отсюда разницей в их психологии и судьбах.

Толстой писал не историческое исследование, вправе был распоряжаться героем по своему усмотрению, не обязан был делать его типичным представителем своего времени, мог как угодно отступать от исторической точности, но раз сознательно допущенный им анахронизм определил взгляды, жизнь и крах персонажа, его, мне кажется, необходимо принимать во внимание.

Наташа Ростова — образ, наиболее привлекавший читателей и литературоведов всех времен и народов. О ней писали многократно, как в восторженном, так и в резко критическом тоне. Ее характер отличается исключительной психологической убедительностью, однако биография почти не поддается переводу на язык исторических реалий, так как развивается по романтическому сценарию. Ее первый бал — это бал Золушки. Юная, неопытная, худенькая московская барышня, недавно привезенная в Петербург, сразу получила приглашение на вальс от «одного из лучших танцоров своего времени». Ради удовольствия Наташи — и всех читательниц вместе с нею — Толстой даже одел князя Андрея в белый кавалерийский мундир, предпочтя забыть, что герой с 1806 года служил в ополчении, а на бал в высочайшем присутствии должен был бы явиться в шитом золотом камергерском мундире, раз уж он зачем-то изображен камергером. Но разве камергер сравнится по поэтичности с кавалергардом?!

Забавно, но, «один из лучших танцоров», князь Андрей вообще не должен был уметь танцевать вальс! Вальс появился в России после 1806 года, когда Болконский жил в провинции. Он мог выучить этот танец либо в Австрии незадолго до Аустерлица, либо в четырехмесячное пребывание в Петербурге при Сперанском. Но можно ли представить, чтобы посреди своих важных дел и дум этот серьезный, взрослый человек стал бы нанимать учителя танцев? Это как-то снизило бы представление о его целеустремленности. Конечно, Толстой мог не знать о времени проникновения вальса на русские балы, хотя в дневниках С. Жихарева он при желании мог заметить отсутствие упоминаний о вальсе в 1805—1807 годах. Но едва ли бы это повлияло на решение писателя: в глазах читателей середины XIX века вальс наилучшим образом соответствовал романтичности Наташиного бала; впечатление было бы испорчено, если бы князь Андрей пригласил героиню на всеми забытый полонез, шальную мазурку или бездумный котильон!

Благодаря своему великолепному партнеру Наташа стала царицей бала, не зная отбоя от приглашений. И всего через несколько недель получила блестящее предложение руки и сердца от первым заметившего ее молодого, богатого и знатного красавца-полковника. Не питая к нему истинно глубоких чувств, героиня предложение приняла. Будучи помолвленной, она оказалась предметом ухаживаний ярчайшего представителя светской золотой молодежи и даже согласилась с ним бежать под влиянием скорее удовлетворенного тщеславия, чем любовного увлечения.

Страдания героини столь же романтически преувеличены, как и ее успехи. Ей выпало все — крах мечтаний и позор, смерть жениха у нее на руках, потеря отца и брата, тяжелая болезнь матери, разорение семейства… Удивительно, как ей не пришлось пробираться одной сквозь пургу или лежать в горячке! Зато в минуту отчаяния по мановению волшебной палочки у нее оказался мышьяк, «который она тихонько достала». Ни в начале XIX века, ни в любые другие времена аптекари не продавали яды всем желающим. Мышьяк использовали в хозяйстве как средство от крыс, но хранился он, разумеется, под замком у ключницы. Пыталась ли Наташа сама сбегать к аптекарю или ключнице, посылала ли к ним горничную, — кому не показалась бы странной просьба барышни отсыпать ей толику мышьяка?

История имела, конечно, счастливый конец: героиня быстро утешилась и благополучно вышла замуж за состоятельного, титулованного, любящего человека, ставшего ей идеальным супругом. Романтический сюжет был резко оборван автором, отчего отсутствие у Наташи душевной глубины стало заметно. Прежде сильные чувства заменялись у нее сильными эмоциями, что вполне удовлетворяло большинство читателей; когда же поводы для волнений исчезли из ее жизни, читатели потеряли возможность ей сопереживать. Очищенный от романтических преувеличений, ее характер оказался малоинтересен. Каким образом Толстой придал очарование такой героине, наделенной одними настроениями, а не чувствами? И как сумел убедить в жизненности и достоверности ее полусказочной биографии? Для этого он использовал своеобразный способ: поступки, мысли и переживания героини строго реалистичны, а их объяснения автором — романтически-приподняты.

Этот прием всего нагляднее проступает в знаменитой сцене танца в доме дядюшки Ростовых. Писатель с упоением живописует, как внезапно и вдохновенно эта «графинечка, воспитанная эмигранткой-француженкой», вдруг показала движения, которые «всосала из русского воздуха», поняла все то, «что было в Анисье, и в отце Анисьи, и в тетке, и в матери, и во всяком русском человеке». Эта декларация чрезвычайно важна в художественной концепции Льва Толстого, в его идее единения всех русских, независимо от их происхождения и воспитания, если только французский дух не въелся в них бесповоротно, как в Элен или Жюли Карагину.

Однако весь этот почти мистический эпизод основан на прямой мистификации читателей. Наташа, жившая в Москве и в деревне, естественно, многократно видела танцы крестьянских девушек, которые забавляли господ летними вечерами в имениях или на столичных праздничных гуляньях. С детства обученная танцам, она легко могла копировать движения русских плясуний — ничего необычного в этом не было бы. Мистификация в другом. Выше упоминались дневники-записки С. Жихарева, которые Толстой использовал в своей работе и откуда почерпнул, в частности, описание обеда в Английском клубе в честь Багратиона, данного московским дворянством 3 марта 1806 года. Следовательно, он имел полную возможность прочитать двадцатью страницами ранее о бале у А. Орлова 3 февраля, когда «граф приказал музыкантам играть русскую песню “Я по цветикам ходила” и заставил графиню (свою дочь А. Орлову. — Е. Ц.) плясать по-русски»10 . Тут же находился «танцмейстер Балашов, учивший ее русским пляскам».

Француженки-гувернантки не учили своих воспитанниц танцам, это не входило в их обязанности (разве только в глухой провинции). В Москве танцам учил П. Иогель, выведенный в романе, или В. Балашов. Моду на сольные русские бальные девичьи танцы ввела Анна Алексеевна Орлова в начале XIX века, и в Москве она сразу же привилась. Московские балы отличались острейшей нехваткой кавалеров, всякий увалень (вроде Жихарева) был на счету, но и их недоставало. Многим барышням приходилось вечерами просиживать у стенки, и они с радостью ухватились за возможность показать свою грацию без нужды в партнерах. Таким образом, Наташу учили русскому танцу, приспособленному для бальной залы, и притом учить мог не только Балашов, но и Иогель, и другие французские танцмейстеры. Как итальянские певцы в России охотно включали в свой репертуар популярные русские романсы и песни, так и французские танцмейстеры сообразовывались со вкусами и нуждами своих клиентов.

Любопытно, что Наташа оставалась сидеть, пока звучала балалайка, а сорвалась с места под звуки гитары — инструмента, только-только входившего в обиход дворянского круга, но совершенно чуждого крестьянской среде, где даже зажиточный хозяин не мог позволить себе столь дорогую покупку. Деревенский парень или девушка с гитарой — образ невозможный во весь XIX век. Толстой честно отразил факт, но сопроводил его противоречащей ему идейной установкой.

Главным героем эпопеи является, конечно, Пьер Безухов. Порой высказывается суждение, что этот персонаж наиболее близок автору, едва ли не носитель авторской позиции. Это утверждение кажется довольно сомнительным. Одно его имя, которое от начала до конца в авторской речи остается во французском варианте, представляется настораживающим знаком. Толстой никогда не называет на французский лад никого из семейства Ростовых или Болконских (исключая прямую речь). Наташа Ростова казалась бы нам совсем иной, будь она «Натали»; с именем же «Пьер» мы так сроднились, что не задумываемся о его форме.

При первом своем появлении Пьер называется не по фамилии, а только как сын графа Безухова, «sans nom, sans fortune», и с горечью и стыдом говорит: «Je suis bвtard». Анна Шерер приветствует его «поклоном, относящимся к людям самой низшей категории в ее салоне». Это глубоко недостоверный штрих: русскому обществу первой трети XIX века не было свойственно ханжеское отношение к незаконнорожденным, к числу которых относились многие выдающиеся лица, не испытывавшие никакого чувства ущемления из-за своего происхождения. В том же 1805 году в кружок «молодых друзей» императора входил вельможа Н. Новосильцев, незаконный сын сестры графа А. Строганова. Неужели Шерер и к нему отнеслась бы с неуважением?!

Незаконные дети дворян были чрезвычайно распространенным явлением в России начала века. Они делились на две категории: приписанных к дворянству и оставленных в крестьянском или мещанском сословии своих матерей (сия разница четко указана Пушкиным в «Дубровском» по поводу отпрысков Троекурова). Последняя категория почти не нашла отражения в литературе и мемуаристике; вероятно, ее представители чувствовали несправедливость своего положения, но чаще просто врастали в материнскую среду. Дворянство же незаконнорожденные получали многими путями. Если отец их был холостяком или вдовцом, он просто давал им свою фамилию, и в этом случае они ничем решительно не отличались от законнорожденного потомства. Если отец или мать состояли в браке, если ребенок родился у незамужней женщины или вдовы, ему могли выхлопотать выдуманную фамилию, которую вписывали в дворянские «Родословные книги» с гербом и всем прочим (Герцен, сын И. Яковлева; Перовские, дети графа Разумовского; И. Пнин, сын Репнина, А. Бецкий, сын князя Трубецкого), — этот путь был доступен в основном вельможам, обладавшим влиянием при дворе. Проще было упросить какого-нибудь бедного дворянина вписать ребенка в свой род (В. Жуковский), выдать его за сына от первого брака матери (А. Фет), за сына сестры (дети князя Ю. Долгорукова), за сына от умершего супруга (Ф. Розенберг, узаконенный бабкой Грибоедова как якобы рожденный от ее второго мужа до брака с ним) и т.п. Любой из перечисленных способов давал ребенку дворянское звание, право на дворянское воспитание и образ жизни, родственные связи, — а только этим и ценилось хорошее происхождение в России, где культ древности рода, незапятнанности родословной отсутствовал с начала XVIII века.

Высшим выражением любви родителей к внебрачному ребенку было стремление дать ему все законные права, включавшие право на наследство. Это стремление неизбежно встречало сопротивление родни, претендующей на его долю в состоянии. В редких случаях отцу удавалось добиться цели, опираясь на собственные величайшие заслуги или фавор у императрицы. Так, дети Ф. Орлова благодаря влиянию его братьев на Екатерину II получили фамилию отца (но не титул!), чему более всего способствовало отсутствие мужского потомства у прочих Орловых. Начинать хлопоты об узаконении имело смысл лишь по достижении ребенком возраста, когда опасности детских болезней и смертей остаются позади. Именно так и поступил старый граф Безухов. Для успеха прошения он должен был долго и упорно нажимать на самые разные рычаги государственной и придворной машины, преодолевать бесчисленные препоны — процесс растягивался на годы и не мог пройти не замеченным для приближенных ко двору. Княгиня Друбецкая, например, знала, что старый Безухов «писал государю». Встречая Пьера, Шерер должна была видеть в нем любимого, балованного сына богатейшего вельможи, весьма вероятного наследника если не титула, то имени и хоть какого-то имения и, следовательно, уважаемого человека. (В русской истории нет примеров передачи титула незаконному отпрыску; Л. Толстой и тут не шел на поводу у реальности.)

Пьер, как и братья Курагины, воспитывался за границей; но если те были отданы в какое-то учебное заведение, он «с десятилетнего возраста был послан с гувернером-аббатом за границу, где он пробыл до двадцатилетнего возраста» и вернулся за три месяца до начала действия. Следовательно, его пребывание в Европе относится к 1795—1805 годам, и жить он, как указывалось выше, мог только в Германии. Как и Ипполит, он не мог хорошо знать русский язык, однако Толстой этого не афишировал. Германия тех лет славилась замечательными университетами: Геттингенским, Гейдельбергским, в меньшей степени Тюбингенским, где уже начал свою деятельность молодой Гегель. Было бы естественно послать Пьера в университет (подобно пушкинскому Ленскому), но его отец предпочел дать сыну самое дорогое образование — домашнее заграничное. Судя по любви Пьера к философии, какие-то лекции профессоров он посетил вольным слушателем, но воспитанием своего аббата воспользовался очень плохо. Мало того, что он неуклюж, имеет дурные, несветские манеры, у него еще «огромные, красные руки». Этим штрихом Толстой изо всех сил, с нажимом подчеркивает следы неблагородного происхождения Пьера, в котором сказывается то ли низкая кровь матери, то ли грех родителей. В подлинной жизни сын высокородного графа, скорее всего, не имел бы «красных рук», не говоря о том, что на светском вечере полагалось быть в перчатках.

Толстой постоянно заставляет героя вести себя не по-дворянски, вопреки воспитанию, титулу и состоянию. При ссоре с Элен, хоть и по очень значительному поводу, Пьер замахивается на нее каминной доской, а потом идет душить голыми руками. Автор замечает, что «порода отца сказалась в нем». Но его отец рос в другие времена, когда детей совершенно не учили сдерживать себя, когда допускалось бить жен. Его отец — сверстник Митрофанушки, пусть в тысячу раз лучше образованный. В начале XIX века обычаи переменились, насилие над женщиной дворянского круга стало необсуждаемым табу. Мы можем представить себе старого князя Болконского, дающего пощечину дочери, но немыслимо вообразить, чтобы князь Андрей замахнулся на жену или сестру хотя бы книгой. Дело не в том, что его ярость выразилась бы иначе, он просто не позволил бы себе дойти до состояния аффекта, его учили контролировать эмоции. Поколение отцов этому не учили, даже не думали учить; Пьера учили, да не выучили. В его время, как и в 1860-е годы, битье жен в дворянской среде совершенно перевелось. Он, правда, Элен не ударил, а хотел прямо убить, увлеченный «прелестью бешенства», но все же князь Андрей в такой ситуации никогда бы не оказался.

Пьер восхищается Наполеоном, что для его поколения (он моложе Андрея Болконского и несколько инфантилен) можно считать уже нормальным, тем более что последние два-три года пребывания за границей он имел возможность посетить Францию и даже увидеть самого императора в ореоле его величия. Но в таком случае совершенно ненормальны его бездеятельность и долгие искания смысла жизни. Либо он восторгается Бонапартом — и тогда высокий смысл преобразования мира ему давно открыт; либо он ищет свой путь — и тогда при чем тут Бонапарт? Философствования Пьера переносят его в поколение людей 1830–1840-х годов, воспитанных в николаевское царствование, обреченных на бездействие, познавших с детства гибельность дерзаний декабристов. Связи Пьера с масонами — анахронизм другого рода. В начале XIX века к масонам уже не относились так серьезно, как в середине XVIII века; их ритуалы казались смешными и почти вывелись, посвящение в масоны было просто входом в мужской клуб, где люди чувствовали себя освобожденными от власти табели о рангах, от светских норм и женского общества. Более высокого смысла в этих собраниях почти уже не было. Времена Новикова и Хераскова остались позади.

А вот женитьба Пьера на Элен совершенно оправданна с житейской точки зрения и строго соответствует историческим фактам. Незаконнорожденный во всем был равен законным детям, кроме одного: он не мог позволить себе опрометчивую женитьбу. Ради своих детей он должен был дать им хорошее происхождение и родню хотя бы по матери. (В этом, вероятно, важнейшая причина, почему Жуковский не женился на своей племяннице Маше Протасовой: он не имел права передать детям пятно двойной греховности рождения.) Пьер оба раза сделал правильный выбор — княжна Курагина и дочь графа Ростова отвечали необходимым требованиям.

«Искания» Пьера автор завершил парадоксально и неправдоподобно: герой стал камергером. По указу Александра I от 18 декабря 1801 года звание камергера могло предоставляться только лицу, состоявшему в действительной или гражданской службе и имевшему чин не ниже 6-го (ко времени Толстого порог был повышен до 4-го класса). Таким образом, Безухов одним шагом перелетел половину табели о рангах, что напоминает времена Екатерины II, а никак не ее потомков. С началом Отечественной войны Пьер повел себя исторически достоверно, сформировав полк на свои средства, подобно М. Дмитриеву-Мамонову, графу П. Салтыкову, Н. Демидову и другим. Их полки, хотя назывались гусарскими, егерскими и т.п., не входили в регулярные силы, но считались выше ополченских. Выполнив таким образом свой долг перед обществом, сам Безухов не захотел остаться в стороне от великих событий.

Его поездка в шарабане на Бородинское поле, где

Вооружась одним лорнетом,

Он любовался, как балетом,

Военною стрельбой11 ,

была нелепейшей и даже недостойной выходкой, недаром навлекшей на Толстого насмешки Д. Минаева и критику шестидесятников. Им, видимо, показалось, что Безухов относится к положительным персонажам, которым не пристало «играть в войну». Однако желание Пьера убить Наполеона ни у кого не вызвало возражений, а между тем оно очень существенно для понимания образа.

Личный террор совершенно противоречил дворянской этике, поскольку неожиданное для жертвы убийство казалось актом подлости, даже если грозило убийце немедленной казнью на месте. В отличие от дуэли или сражения, где стороны по идее подвергались равной опасности, убийство и цареубийство дворянами не одобрялись. Цареубийство могло совершаться группой заговорщиков, где ответственность как бы растворялась, падая на многих (вроде убийства шведского короля Густава III в 1792 году на придворном маскараде). О цареубийстве мечтали декабристы И. Якушкин и П. Каховский, но показательно, что замысел не был приведен в исполнение. Удачные индивидуальные покушения совершали либо недворяне (Ж. Клеман, убийца Генриха III; Ф. Равальяк, убийца Генриха IV; Д. Фелтон, убийца герцога Бекингема), либо женщины, которых законы дворянской чести связывали меньше, чем мужчин (Шарлотта Корде). Неудивительно, что Пьер в качестве примера для подражания обратился к покушению на Наполеона немецкого студента в Вене в 1809 году.

С одной стороны, Безухов наконец начал «глядеть в Наполеоны» и возмечтал «или погибнуть, или прекратить несчастье всей Европы»; с другой стороны, избранный им способ борьбы был по форме плебейским. Толстой объяснил его действия «чувством потребности жертвы и страдания», которое заставило героя отказаться от роскоши, спать на жестком диване и есть с дворником, — неужели это не издевка автора, живописавшего куда большие лишения, выпавшие на долю воинов? Еще Пьер движим «неопределенным, исключительно русским чувством презрения ко всему условному, искусственному, человеческому (!)». Это чувство, по мнению Толстого, заставляет человека, «совершая (в пошлом смысле) безумные дела», как бы пробовать «свою личную власть и силу, заявляя присутствие высшего, стоящего вне человеческих условий, суда над жизнью». В качестве примера таких дел автор приводит действительно пошлые: пропить последнюю копейку и перебить зеркала без видимой причины. Оба примера отдают кабаком и купеческим разгулом и ничего общего не имеют с благородной готовностью пожертвовать собой ради великого дела или славы в потомках, а не ради бездумного удальства и сиюминутного лихачества.

Покушение Пьера не состоялось, тем более что шел он на него после ночного пьянства, не с тем, «чтобы исполнить задуманное дело», а «чтобы показать самому себе, что не отрекается от своего намерения». Раздумья Пьера над разряженным пистолетом опять-таки описываются автором едва ли не издевательски. Прогулки Пьера по Бородинскому полю и захваченной Москве тем более неприличны, что он состоял в дворянском ополчении и обязан был оставаться в расположении своей части. Фактически его можно было бы судить как дезертира, вдобавок запятнавшего губернский мундир, ибо расхаживал в штатском.

Физические и нравственные страдания в плену нисколько не изменили характер Пьера. Выздоровев после горячки, последовавшей за освобождением из плена, он только и находил в себе силы приговаривать: «Ах, как хорошо! Как славно! — говорил он себе, когда ему подвигали чисто накрытый стол с душистым бульоном, или когда он на ночь ложился в мягкую чистую постель, или когда ему вспоминалось, что жены и французов нет больше». По-человечески его чувства вполне понятны и естественны, но они низки — благородный дворянин постыдился бы признаться в них даже самому себе. Однако поведение Пьера на войне нельзя трактовать прямолинейно.

В эпопее, посвященной великой борьбе русского народа против иноземных завоевателей, естественно было бы рассматривать отношение героев к войне как пробный камень их отношения к родине. Казалось бы, нельзя любить отчизну и не стремиться ее защитить! Если смотреть с этой точки зрения, то приходится признать, что выдержали проверку на патриотизм Андрей Болконский, Анатоль Курагин, Петя Ростов, ряд второстепенных персонажей, но не Пьер Безухов и даже не Николай Ростов. Последний за несколько дней до Бородинской битвы был отправлен «в командировку за ремонтом для дивизий». Это было ответственное поручение, ибо от качества выбранных лошадей зависели успехи и жизнь кавалеристов; в сложные времена в ремонтеры старались определять офицеров проверенной честности, которые не прикарманили бы казенные деньги путем отбора низкокачественных животных. Правда, ремонт накануне генерального сражения — сомнительный ход, принадлежащий Толстому, а не дивизионному генералу, который наверняка послал бы ремонтную команду после битвы, когда станет ясна убыль в лошадях. Это обстоятельство маловажно; для характеристики Николая существенно другое: он не был при Бородине — и нисколько этому не огорчился. Уезжал в Воронеж он «с величайшим удовольствием, которое он не скрывал и которое весьма хорошо понимали его товарищи». Недаром Николай Ростов не пользовался симпатией читателей разных поколений.

Но неужели Л. Толстой хотел изобразить героя и его однополчан трусами или людьми, равнодушными к судьбе России? Может быть, дело было в другом: война, даже освободительная и народная, не представлялась писателю явлением нравственным, оправданным? И воинственная жестокость Долохова была ему отвратительна, а трусливость Пьера — симпатична? И именно поэтому милому мальчику Пете он не позволил даже взмахнуть саблей, предпочтя его убить шальным выстрелом? Все это были бы предположения, интерпретации эпизодов, которые можно понимать по-разному; но в распоряжении исследователя есть конкретный недвусмысленный факт, данный Толстым.

В начале Отечественной войны Николай Ростов за атаку в небольшом деле был награжден Георгиевским крестом, к собственному своему удивлению, словно бы по прихоти командующего. «У меня рука дрогнула. А мне дали Георгиевский крест. Ничего, ничего не понимаю!» — размышлял герой, получая орден и продвижение по службе. В самом конце романа юный Николенька Болконский решил, что не желает быть георгиевским кавалером, как его дядя Ростов. Выпад Толстого против Георгиевского креста необычаен в художественной и исторической литературе. Орден Святого Георгия пользовался величайшим уважением в течение всего своего полуторавекового существования, чего никогда бы не произошло, если бы его давали за надуманные заслуги в зависимости от расположения начальства. Георгиевский крест можно было заслужить только на поле боя за личный подвиг или за стратегический талант. Обычно к награде конкретного офицера представлял главнокомандующий, но нередко случалось, что отличившемуся полку жаловали несколько крестов, которые следовало распределить между самыми заслуженными воинами по решению однополчан. Такое получение награды ценилось особенно высоко. И. Якушкин был награжден Георгием за Бородинскую битву по решению солдат, которые непосредственно наблюдали его храбрость и стойкость. Высшую и почетнейшую воинскую награду заслужить было нелегко — в 1812 году орден нижней, 4-й степени имели всего 1,7 процента офицеров, а высших степеней — считанные единицы12 .

Л. Толстой как боевой офицер, разумеется, понимал значимость и заслуженную славу этого ордена. Как раз в пору создания «Войны и мира» император Александр II возложил сам на себя орден Георгия 1-й степени, чем вызвал бурю возмущения в обществе и армии. Уничижительное отношение к Георгиевскому кресту в романе не имеет реальных оснований и может быть объяснено только с точки зрения идейной позиции автора.

Георгиевский крест — символ военной доблести, поскольку давался исключительно за воинские заслуги. А следовательно, его можно воспринимать и в качестве символа войны как таковой! Любые проявления войны и воинственного духа не встречают признания Толстого. Ему близко только пассивное сопротивление, подобно оставлению Москвы ее жителями, которые показали «этим отрицательным действием всю силу своего народного чувства». И «дубина народной войны» нравится ему гораздо больше, чем крестьянский топор, которым рубит французов один из мелких персонажей: удар дубины не смертелен!

Оттого основные герои «Войны и мира», в сущности, не сражаются: князь Андрей не успел вступить в бой ни при Аустерлице, ни при Бородине; Николай Ростов Бородина избежал, а Георгиевский крест получил за «дрогнувшую руку»; Пьер бежал от выстрелов, «не помня себя от страха», и душил француза, также «движимый невольным страхом»; Петя Ростов даже не взял оружие в руки. И разве за свое пассивное участие в Отечественной войне все они навлекли на себя презрение автора?

В литературе XIX века антивоенная проповедь впервые с исключительной силой прозвучала, пожалуй, в восьмой песне «Дон Жуана» Байрона. Великий поэт с жестоким реализмом живописал кровавые ужасы войны, стремясь пробить ханжеское лицемерие правителей и обывателей и показать всяким ревнителям национальной славы, что политические цели войн не искупают гибели тысяч и тысяч солдат и мирных жителей. Лишь в одном случае Байрон не считал потерянных жизней, включая собственную, — в национально-освободительной борьбе. Толстой продемонстрировал свое отрицание войны прежде всего через личные страдания персонажей. Когда люди натирают ноги, теряют ноги, теряют жизни, до бед ли им Отечества? не все ли равно, что враг пытается завоевать Родину, коли порвались сапоги, а ядра грозят порвать грудь? Победить захватчиков, конечно, было бы прекрасно, но пусть это сделают другие, а лучше всего «дубина» сама собой, как сказочный меч-кладенец!

При таком художественном ракурсе, в отличие от байроновского, могло показаться, что Толстой хотел не воспитать патриотизм, а поощрить малодушие. Правда, писатель с явной симпатией изобразил маленького человека с отважной душой, капитана Тушина. Читателю предоставлено самому решать: считать ли Тушина образцом офицера, а главных действующих лиц романа трусами или никчемными воинами, либо признать вслед за автором отвратительность всякой войны, даже национально-освободительной.

После войны Пьер получил возможность вести наиприятнейшую жизнь: счастливо женился, завел детей, рассчитался с долгами, был полновластным хозяином в доме. Однако раздумий своих он не оставил и продолжал состоять в некоем обществе с «князем Федором». Существует устойчивое мнение, что Безухов станет в будущем декабристом. Мнение это основывается, видимо, на том, что Толстой сперва задумал роман о декабристе, от которого постепенно дошел до замысла «Войны и мира». Одно с другим прямо не связано. Пьер Безухов — человек, наиболее далекий от круга декабристов: толком не служивший, невоенный, побывавший в позорном плену, ибо захвачен был не на поле боя, а в горящей Москве, где ему нечего было делать, с толпой мужиков. Почему не оставил Москву 1 сентября, что там делал? уж не предатель ли? — могли думать в обществе. Его глупые оправдания о задуманном покушении никто и слушать не стал бы — не графское то дело. В конце романа он сидит дома, в упоении от семейного счастья, и снова философствует, и что-то пишет, но, конечно, никогда не напишет. К 1825 году он станет сорокалетним богатым московским бездельником, отставным камергером, с устойчивой репутацией безобидного чудака. К такому человеку никогда никто не обратится с предложением вступить в тайное общество, стать преобразователем России; даже Репетилову он покажется неподходящей кандидатурой.

Сон Николеньки Болконского также нередко понимается как намек на последующее участие героев в событиях 14 декабря. Но сны — даже в романах — нельзя трактовать чересчур прямолинейно. Сыну Андрея Болконского в конце 1825 года будет всего девятнадцать лет. Столь юные участники входили в декабристские организации целиком под воздействием старших братьев и родственников, еще не умея в свои годы сделать осознанный идейный выбор. Если Николенька Болконский и окажется в рядах декабристов, это повлияет на его судьбу, но ничего не скажет о нем как о личности. И Пьер может оказаться на Сенатской площади разве лишь случайно, как на Бородинском поле. И Николай Ростов, вышедший в отставку, помещик и семьянин, едва ли станет бороться с восставшими.

Толстой, собственно, и не сделал Пьера предтечей декабристов, наоборот, заставил его обвинять молодежь в жажде почестей, денег и женщин — что напоминает брюзжание старика, не понимающего, что юноши вернулись с самой кровопролитной за всю предшествующую историю войны и с огромным трудом втягивались в мирную жизнь. Не полагаясь на юное победоносное поколение, Безухов предложил Николаю Ростову основать «общество настоящих консерваторов», «независимых, свободных людей» (читай: «богатых и неслужащих»), «общество джентльменов в полном значении этого слова». Цель общества — помочь правительству, «чтобы завтра Пугачев не пришел». Таких обществ в России начала XIX века не было (известный Орден русских рыцарей ставил несколько иные задачи и состоял сплошь из высокопоставленных военных; Пьеру в нем нечего было делать). В любом случае охранительные задачи общества «князь Федора» прямо противоположны стремлениям декабристов. И Николай Ростов правильно резюмировал, что «Пьер был и останется мечтателем».

Многочисленные бытовые и исторические несообразности (которых можно перечислить гораздо больше) обычно не бросаются в глаза читателям «Войны и мира». Однако сам автор их, безусловно, замечал и едва ли рассчитывал на невнимательность или невзыскательность публики. Было бы слишком просто приписать их небрежности великого писателя или его незнанию общеизвестных фактов. Все-таки Лев Толстой не Александр Дюма. Театральность, искусственность действия легко простить романам Дюма, где игровые характеры героев и игровой исторический фон составляют гармоничное целое. У Толстого же высокореалистичные, психологически убедительные персонажи помещены, в сущности, в псевдоисторическое пространство. Это в значительной степени разрушает впечатление от реализма, а подчас натурализма в описаниях, словно намекая, что перед читателем не обычный роман, а скорее некая притча. Но только ли ради этого понадобились Толстому постоянные и сознательные отступления от исторического и жизненного правдоподобия при изображении основных действующих лиц? Зачем вообще они были нужны?

Среди многих возможных объяснений простейшим будет то, что этого потребовал художественный замысел. Л. Толстой избрал в «Войне и мире» великую эпоху в истории России, на фоне которой изобразил простых людей, со многими слабостями и странностями. Это истинно революционное открытие произвело огромное впечатление на читателей и оказало сильнейшее воздействие на русскую и мировую литературу. Особенно охотно его использовали в советских романах о Великой Отечественной войне, однако с существенным дополнением: их заурядные, порой смешные герои в критический момент проявляли силу духа, преодолевали любые испытания — или гибли, внося вклад в общую победу.

Персонажи «Войны и мира», напротив, лишены силы духа и доблестей, высоких чувств и возвышенных мыслей, они не сражаются, не совершают подвигов, они вообще не совершают никаких поступков. Впоследствии Толстой отказался от такой системы образов: в «Анне Карениной» на фоне мирной жизни выведены незаурядные личности, готовые к необычным поступкам; а в «Воскресении» исключительность в героях и их судьбах доведена до предела. Вероятно, уже в процессе работы над «Войной и миром» Толстой пришел к убеждению, что через подчеркнуто негероические образы невозможно передать характер героического времени! Однако отказываться от психологически убедительных, новых литературных типов автор не желал. Поэтому он по необходимости должен был прибегнуть к нескольким средствам: во-первых, резко снизить образ врага, превратив французов в жалких ничтожеств; во-вторых, низвести с пьедестала великих исторических лиц и не изображать подлинных героев и вообще людей достойных; в-третьих, придать основным персонажам дополнительную значимость, не вытекающую из их психологии, а внешнюю, бытовую, историческую. Но — неизбежно — псевдоисторическую! Герои «Войны и мира» не выдержали бы столкновения с исторической истиной. Ведь в эпоху Отечественной войны было множество реальных людей, наделенных и слабостями, и глупостями, что не мешало им проявлять подлинный героизм и стойкость. В конце концов, в русской армии 1812 года, как в любой другой армии всех времен, труднее было найти труса, чем человека, твердо выполнявшего свой долг.

В чем смысл использованного Толстым приема? Например, Элен совершенно убедительна в роли пустой кокетки и злой жены, но в этом качестве она способна была бы отравить только жизнь мужа; в качестве же предательницы отеческой религии и самого Отечества она отравляет атмосферу во всем романе, превращается в достаточно зловещий образ, для чего ее переходу в католицизм автор дал заведомо неверное объяснение.

Князя Андрея приукрашает его «наполеоновское» честолюбие, воскресающее после постоянных разочарований и неудач; оно отчасти заставляет читателей приписывать эти неудачи дурному воздействию Бонапарта, а не собственному нраву и рассудку героя.

Пьера облагораживают его философские искания: едва ли понятные большинству читателей, они придают Безухову ореол высокой духовности, мешая ему превратиться в увальня и «мещанина во дворянстве» и несколько прикрывая его бесплодно растраченную жизнь.

Наташу возвышает ее романтическая биография, — здесь использованный Толстым прием предстает в чистом виде. Если бы на первом балу героиню ждала участь более правдоподобная для незнатной (графский титул сам по себе не означал принадлежности к высшему кругу) и небогатой, чужой в Петербурге московской барышни — просидеть весь вечер у стенки и, может быть, под конец получить неблестящее приглашение на котильон, она не сумела бы сохранить очарование в глазах читателей. Татьяна Ларина в подобном положении («Между двух теток, у колонны,/ Не замечаема никем») сохраняет симпатию читателей, уходя мыслями вглубь себя, уносясь мечтами в родные края из ненавистной душной залы. Наташа же мечтает только о кавалере, что, конечно, более естественно, но менее одухотворенно. Если бы ее надежды, как нередко случается в действительности, не осуществились, она показалась бы смешной или неинтересной. Но на плечах подобной героини не удержалось бы бремя народной эпопеи! И Толстой вынужден был сделать ее царицей бала и бросить к ее ногам трех завидных поклонников одновременно. Впрочем, и Пушкин, вопреки собственной воле и вопреки правдоподобию (за что его упрекали современники), дал Татьяне богатого и знатного мужа и превратил ее во влиятельнейшую светскую львицу. Видимо, никакой душевной глубины недостаточно, чтобы сохранить читательское внимание к неудачливой и незамужней девице!

У Николая Ростова дополнительной значительности не оказалось, и он остался самим собой — добрым малым без особого ума, без особого сердца. Это вынесло его на периферию романа, хотя по объему посвященных ему страниц он вполне равен Пьеру Безухову и князю Андрею.

Конечно, глубокие и часто принципиальные расхождения между правдой жизни и ее отражением в романе не заметны никому, кроме специалистов по русской истории XIX века. Время совершило то, чего не совершил Толстой: оно исключило исторические детали из характеристики образов «Войны и мира», сделало их незаметными и неважными для читателей, раскрыло в образах их внеисторичную — «вечную» — значимость. И герои эпопеи принадлежат не эпохе 1812 года, даже не толстовскому времени, а любому времени, когда новый читатель открывает «Войну и мир».

Однако подкрепление художественного вымысла псевдоисторическими деталями порой приводит Толстого к парадоксальным результатам, когда становится неясно, что, собственно, имеет в виду писатель, за какую ниточку надо тянуть, чтобы выявить его мысль? Иногда очевидная по видимости идея автора при вдумчивом анализе оборачивается своей противоположностью, и трудно решить, осознавал это Толстой или так получилось непреднамеренно?

В пору работы над «Войной и миром» Толстой с увлечением читал роман М. Загоскина «Рославлев», где резко выражена идея о решительной противоположности французской наносной культуры русскому народному духу. Как известно, роман Загоскина вызвал такое возмущение Пушкина, что тот сгоряча начал писать одноименный роман-опровержение. Произведение, затеянное с полемическими целями, Пушкин не закончил, быть может решив не тратить свой гений на борьбу с второстепенным литератором. Какую позицию занял в этом споре Толстой? Важнейшим моментом в системе его доказательств представляется танец Наташи Ростовой. Но, несмотря на все рассуждения по поводу близости «графинечки» к Анисье и отцу Анисьи и т. д., так ли уж очевиден смысл этого эпизода для автора? Действительно ли он говорит о стихийной «народности» самой привлекательной героини «Войны и мира»? Ведь двойственность ситуации здесь явно бросается в глаза.

Разве Татьяна Ларина является менее искренней и менее русской оттого, что свое необдуманное письмо Онегину пишет по-французски с соблюдением французских литературных канонов? Если бы Пушкин включил его в текст романа во французской прозаической форме, оно произвело бы впечатление чужеродности, но в избранном им варианте оно стало выдающимся явлением русской культуры. И разве полковник Бурмин из «Метели» перестал быть русским офицером-победителем, героем 1812 года и заграничных походов оттого, что его объяснение в любви напоминает героине начало «Новой Элоизы» Руссо? И разве сам Пушкин не может считаться величайшим русским поэтом оттого, что вырос на французских книгах, что в ранние лицейские годы (пришедшиеся на конец 1811–1812 год!) имел прозвище «Француз»?

Пушкинские характеристики «русскости» строятся на однозначных и внятных любому читателю символах.

Татьяна (русская душою,

Сама не зная, почему)

С ее холодною красою

Любила русскую зиму.

Научить любить русскую зиму не может никто, кроме самой зимы. Нужно с младенчества привыкнуть к снегу, к виду запорошенных деревьев, к хрусту шагов в морозные дни, чтобы научиться им радоваться, чтобы страдать без них. Давать уроки любви к зиме в Африке совершенно бессмысленно, как бессмысленно пытаться полюбить море или горы, видя их только на картинах.

У родителей Татьяны «на масленице жирной / Водились русские блины», «им квас как воздух был потребен». Искреннюю привязанность к резко выраженному кислому вкусу русской национальной кухни можно приобрести только в России, живя здесь с младенчества. И никакие французские воспитатели эту привязанность не победят, что блистательно сформулировано в известной жалобе Шереметева: «Худо, брат, жить в Париже: есть нечего; черного хлеба не допросишься!»13 Суть дела здесь не в «квасном патриотизме», а в чисто физической потребности организма в дрожжевой пище.

В отличие от национального климата и национальной кухни, которые можно полюбить, только живя среди них, национальному танцу можно научиться где угодно, имея учителя и необходимые музыкальные инструменты, тем более когда речь идет о пляске под гитару — инструменте при всех местных модификациях достаточно универсальном (это не балалайка или волынка, к чьему своеобразному звучанию надо привыкать с детства). Однако и танец танцу рознь.

Старые Ларины «любили круглые качели, / Подблюдны песни, хоровод». Пушкин перечислил исконно русские развлечения, невозможные без участия народа. Даже когда хоровод устраивался по приказу барыни, характер его создавали крестьянки, следуя канонам народного искусства. Любовь к национальной культуре в этом случае не только оказывалась проявлением духовной близости дворян-помещиков и их крепостных, но и просто сводила их в одном месте, объединяла, сближала хотя бы в рамках праздничной идиллии. У Толстого же игра на балалайке представлена как составная часть барского обихода: «У дядюшки было заведено, чтобы, когда он приезжает с охоты, в холостяцкой охотничьей Митька играл на балалайке». Одинокая игра дворового за дверьми барских покоев, одинокий танец Наташи посреди дворянской трапезы — глубоко ненародны, несмотря на всю непосредственность и искренность чувств героини. Если бы она в душевном порыве вдруг вплелась в крестьянский хоровод или даже протанцевала в его центре, впечатление от ее «русскости» было бы совсем иным, чем когда она вскочила с места по желанию дядюшки: «Ну, племянница!» Неважно, что ее танец трактован исторически неверно; важно, что он производит впечатление маскарада, выданного за правду жизни. Так, при Николае II очень любили придворные балы в русских нарядах; юным девицам они могли искренне нравиться, но где был в них народный дух?

Или переход Элен в католицизм, поданный как акт измены родине? исторически это ошибочно, а с идейно-художественной точки зрения? Если счесть преданность национальной религии неотъемлемой обязанностью патриота, то почему бы не встать на позиции «официальной народности» («самодержавие, православие, народность») и признать преданность самодержавию врожденным свойством русского человека, а всех, кто бунтует против царя, объявить изменниками, заслуживающими каторги или виселицы?

Загоскин не допускал, чтобы героиня во время войны могла выйти замуж за врага Отечества, он жестоко покарал ее за подобный выбор, — но на то он писатель среднего уровня. Пушкин позволил себе создать героиню, говорящую по-французски, влюбляющуюся во французского пленного, — и при этом истинную патриотку, жертвующую собой во имя Родины! Образ Полины остался недорисованным; но органичная цельность мироощущения присуща многим лучшим героям и героиням Пушкина, и она понятна всякому читателю, далекому от культуры пушкинского времени, ибо передается через общепонятные и достоверные символы.

Религия, танцы, моды, идеи познаются в процессе обучения, ими можно увлечься в любой стране, их можно менять. Климат, кухня, национальные традиции отношений между людьми воспринимаются только через жизнь среди них, становятся частью физиологического и психологического склада личности, преодоление которого трудно и болезненно. В этой привязанности нет ничего мистического, она объясняется простейшими факторами, но выйти из-под ее власти человек может, только переместившись в иную национальную среду.

Можно ли утверждать, что Толстой не сумел понять тот органичный сплав русской и французской культуры, который был свойствен дворянскому обществу начала XIX века, где французские составляющие культуры уже не воспринимались как именно французские и нисколько не мешали бороться с завоевателями, любить родину, продолжая говорить по-французски? Как и восхищение военным гением Наполеона, возведение его в идеал не мешало декабристам стремиться приложить свои усилия ко благу России, ее народа, а отнюдь не Франции?

Толстой жил в эпоху, последовавшую не за победоносной Отечественной войной, а за позорно проигранной Крымской (хотя Севастополь, где он сам служил, мог только гордиться своей ролью в войне). Для него отчасти было естественно ненавидеть французов как таковых. В поколении же писателей первой трети XIX века никто бы не написал такую чудовищную фразу: «Кто из русских людей, читая описание последнего периода кампании 1812 года, не испытывал тяжелого чувства досады, неудовлетворенности и неясности. Кто не задавал себе вопросов: как не забрали, не уничтожили всех французов…» Художественным отражением этой мысли стала сцена после гибели Пети Ростова, когда Долохов кричит при виде обезоруженных французов: «Брать не будем!» — и позже смотрит на проходящих пленных «холодным, стеклянным, ничего доброго не обещающим взглядом». Перекликаясь с происшедшей незадолго до этого беседой Долохова и Денисова, эпизод словно намекает на скорый расстрел пленных или какую-то жестокость по отношению к ним, хотя и остается нерасшифрованным.

В действительности жестокость к побежденному врагу не проявлялась в Отечественную войну обеими сторонами. Это отнюдь не была «война в кружевах», но она велась армиями на полях сражений, где нельзя было не уважать врага, сохраняя непоколебимую готовность к сопротивлению («Постой-ка, брат мусью! / Что тут хитрить, пожалуй к бою…»). Для отношения россиян к французам скорее показателен госпиталь, устроенный отцом будущих славянофилов братьев Киреевских для раненых французов и русских без различия национальной принадлежности, нежели абсолютно неправдоподобный расстрел пленных. Законы военной чести соблюдались строго и не допускали уничтожения сдавшихся в плен, безоружных людей. Мирному населению война грозила в основном гибелью имущества; дворяне же вообще были избавлены от опасностей. Если французы входили в обитаемую усадьбу, дом занимался офицерами, хозяева продолжали рассматриваться как таковые, а поместье меньше страдало от мародерства, чем оставшееся без господ. И крепостные княжны Марьи были совершенно правы, не желая отпускать госпожу: для них она была главной защитой от французских фуражиров, ей же опасность не грозила. Ее желание убежать от французов по-женски вполне понятно, но свидетельствует как раз не о силе, а о слабости духа, вопреки утверждениям Толстого.

Вопрос в том, что же именно утверждал писатель? В «Войне и мире» расхождения между художественным содержанием текста и авторским комментарием к нему во многих случаях вопиющи. Танец Наташи, отсутствие патриотизма у воинов в Отечественную войну, проявленный некстати патриотизм княжны Марьи — все это звенья одной цепи, которую можно продолжать до бесконечности. Так, мысль о недостаточной жестокости к отступающим французам, которая объяснена лишь усталостью русской армии и т.п., высказана в авторском отступлении, в художественном же виде она выражена через слова и действия явно непривлекательного для писателя Долохова. Словом, проводя свою по внешности достаточно националистическую идею «народности», Толстой сам же ее постоянно опровергает. Где была для него истина?

Среди основных героев романа нет подлинных носителей народного чувства. Можно было бы счесть, что Толстой отрицает народность даже лучших своих дворянских персонажей, противопоставляет их народу — или народ им! (Имеет ли, например, какое-нибудь значение то обстоятельство, что великая русская эпопея начинается и завершается французскими диалогами? или это случайность?) Однако как раз противопоставления дворянства и крестьянства в романе нет, по крайней мере Толстой не захотел изображать его там, где оно исторически существовало.

Эпопея пронизана идеей «народной войны». Для Толстого главное объяснение похода Наполеона на Россию: «Так надо было… Это надо было, чтобы поднялся народ». И автор показывает, как поднимается народ, как побеждает Бонапарта, и… действие обрывается в конце 1812 года! Эпилог переносит читателя через семь лет и посвящен разбору царствования Александра I как монарха и описанию семейного счастья и забот Безуховых и Ростовых. Народ поднялся — и что? Ответ дал, например, А. Грибоедов одной страничкой чернового наброска плана пьесы, печатаемой под условным названием «Драма о 1812 годе». Своим главным героем Грибоедов сделал крепостного-ополченца, противопоставленного благородному и героическому французскому офицеру (!) и трусливому русскому дворянству («всеобщее ополчение без дворян»). Ополченец совершает подвиги, Россия побеждает и — «вся поэзия великих подвигов исчезает». Ополченец «отпускается восвояси с отеческими наставлениями к покорности и послушанию», «возвращается под палку господина… Отчаяние… самоубийство»14 .

Такова была оборотная сторона народного подъема, которую Грибоедов видел лично и зафиксировал с правдивостью, необычайной для его эпохи. Народ поднялся — чтобы опуститься снова, к «прежним мерзостям», под прежние палки. В царском манифесте 30 августа 1814 года, где в благодарность за одержанную победу всем сословиям были дарованы разные милости, о крестьянах была одна строка: «Крестьяне, верный наш народ, да получат мзду свою от бога». И неудивительно, что Толстой остановился на 1812 годе. Сколько-нибудь правдивое изображение послевоенных настроений русского простого народа неизбежно подорвало бы выстроенную им сказочно-идиллическую картину сословных отношений в России. Писатель открыто заявил, что не собирается замечать крепостное право, не верит в его жестокости. Хотя совсем пренебречь им он не сумел: недаром незадолго до Бородина Николай Ростов занят не чем иным, как усмирением крестьянского бунта! И Пьер Безухов беспокоится о возможности новой пугачевщины. Без крепостничества роман становился, в сущности, ближе и понятнее эпохам, последовавшим за 1861 годом, что отвечало стремлению Толстого к изображению «вечного», а не «историчного».

Но вместе с крепостничеством писатель исключил то, что составляло коренную проблему России, проявлялось веками, ко злу ли, к добру было и остается истинной русской национальной чертой: непреодолимую взаимную враждебность высших и низших.

Русский народ традиционно проявлял бульшую жестокость к внутренним врагам, чем к внешним. И всегда готов был искать этих внутренних врагов. Не только сословные различия, но самое незначительное имущественное расслоение внутри одной деревни вызывало ненависть, желание снизу — уничтожить превосходство, сверху — отгородиться от низших. В условиях общей смертельной опасности рознь забывалась, но ненадолго, и возобновлялась с прежней силой, даже когда опасность не миновала. Европейским странам такое положение в целом было исторически чуждо.

Единение дворянства с народом, которое якобы чувствовали будущие декабристы в Отечественную войну и в заграничных походах, — красивый миф. Они общались не с народом, а с солдатами. Солдат — уже не крепостной; рекрут становился навсегда свободным. Крестьяне-ополченцы воевали, надеясь на будущую волю — не для одних себя, для всего народа, которому царь обязан дать награду за подвиги. Крестьяне же, оставшиеся по деревням, защищали от французских отрядов свои поля и свои семьи, но неизвестны примеры, когда бы крепостные по собственному желанию бились за сохранность барских усадеб!

Отказ Толстого от изображения крепостничества в конечном счете не придал «Войне и миру» вневременной художественной ценности, поскольку нарушал психологическую достоверность характеристики русского народа. «Война и мир» была малочитаема в Гражданскую войну, зато производила огромное впечатление в Великую Отечественную, когда люди в едином порыве сражались за то, что искренне считали народным достоянием, — не за одно слово «Родина», не за одни березы и ракиты, а за все то конкретное, осязаемое, общее, чем владеют все, что передадут детям и внукам. Пусть это оказалось иллюзией — иллюзия была; во времена крепостничества ее быть не могло.

Может быть, перенося центральный конфликт с внутренних бед на внешние, Л. Толстой желал поднять патриотический дух соотечественников, удрученных Крымской войной? или примирить их с крестьянской реформой? или воспитать их в духе своей проповеди непротивления злу насилием (что более прямолинейно делал в старости)? В любом случае его система формирования образов и идей делала восприятие эпопеи резко политизированным. И приняли ее в штыки шестидесятники, остро ощущавшие пережитки крепостничества и барства; и возвеличили ее на рубеже XIX—XX веков, когда общество отчаянно искало средства предотвратить революционный раскол страны; и зачитывались ею в советские времена, когда классовый мир казался крепок.

Впрочем, эта политизированность восприятия относилась в основном к идеям «Войны и мира», не разрушая восхищения совершенством психологических характеристик ее героев. Сам Толстой, безусловно, не стремился провоцировать политические страсти и дискуссии над романом. К ним привела противоречивость идей, не расшифрованных автором. Богатство смысловых оттенков свойственно величайшим произведениям мировой культуры. «Гамлет» или «Джоконда» предоставляют неисчерпаемые возможности для интерпретаций, ни одна из которых не может стать окончательной. При этом неисчерпаемость гениальных творений Шекспира или Леонардо зависит только от художественных средств, заложена в них самих и неразрывно с ними связана. Однако Толстой, как известно, категорически не признавал шекспировский метод, жестко полемизировал с ним в своем разборе «Короля Лира». И выбрал иной путь: в «Войне и мире» многогранность идейного содержания создается постоянным противопоставлением художественного тезиса историческому антитезису или наоборот. Что касается синтеза, его можно понимать по-разному в зависимости от того, в чем видеть главную составляющую эпопеи: в исторических идеях писателя, художественности образов или сказочно-идиллическом сюжете.

Немногие произведения всемирной литературы выживут на прокрустовом ложе истории. Но примеривать их к нему порой небесполезно, чтобы яснее понять, какими средствами и во имя каких целей автор заставляет служить себе правду жизни — или ее неправду.

**Список литературы**

1 См.: Письмо Е. Ф. Тютчевой И. С. Аксакову // Литературное наследство. Т. 97. Федор Иванович Тютчев. Кн. 1. 1988. С. 457.

2 См.: Дворянские роды Российской империи. СПб., 1993. Т. I—II.

3 Рассказы бабушки. Из воспоминаний пяти поколений, записанные и собранные ее внуком Д. Благово. Л., 1989. С. 289—291.

4 См.: Кирсанова Р. М. Сценический костюм и театральная публика в России XIX века. М., 2001. С. 13—16.

5 См.: Институтки. Воспоминания воспитанниц институтов благородных девиц (Россия в мемуарах). М., 2001. С. 521—522.

6 Рассказы бабушки. С. 251—252.

7 См.: Институтки.

8 См.: Список наиболее известных русских католиков XIX века: Цимбаева Е. Н. Русский католицизм. М., 1999. С. 164—166.

9 Морошкин М. Я. Иезуиты в России: В 2 тт. СПб., 1867—1868; Самарин Ю. Ф. Иезуиты и их отношение к России. М., 1887; Толстой Д. А. Об иезуитах Москвы и Петербурга. СПб., 1859.

10 Жихарев С. П. Записки современника. М.—Л., 1955. С. 176.

11 Эпиграмма и сатира. Т. II. М.—Л., 1932. С. 159.

12 См.: Целорунго Д. Г. Офицеры русской армии — участники Бородинского сражения. М., 2002. С. 180.

13 Пушкин А. С. Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года.

14 Грибоедов А. С. Сочинения. М.—Л., 1959. С. 318—319.